



---

Н.С. ЛЕСКОВ

---



Николай Семёнович Лесков

**Пустоплясы**  
(Рассказы)

**Николай Лесков**  
**Пустоплясы**  
*Святочный рассказ*

На одном дорожном ночлеге по старому тракту сбилось так много людей, что все места в просторной избе были заняты. Случились тут люди и конные, и пешие, и швецы, и жнецы, и удалые разносчики, и чернорабочие, которые ходили дорогу чистить. На дворе было студено, и все, с надворья входя, лезли погреться у припечка, а потом раскладывались, где кто место застал, и начали разговаривать. Сначала поболтали про такие дела, как неурожай да подати, а потом дошли и до «судьбы божества». Стали говорить – отчего это бог Иосифу за семь лет открыл, что в Египте «неурожай сойдет»; а вот теперь так не делает: теперь живут люди и беды над собою не ожидают, а она тут и вот она! И начали говорить об этом всякий по-своему, но только один кто-то с печки откликнулся и сразу всех занял; он так сказал:

– А вы думаете, что если бы нам было явно, когда беда придет, так разве бы мы отвели беду?

– А разумеется.

– Ну, напрасно! Мало что ли у всех в виду самого ясного, чего отвести надо, а однако не

ОТВОДИМ.

– А что, например?

– Да вот, например, чего еще ясней того, что бедных и несчастных людей есть великое множество, и что пока их так много, до тех пор никому спокойно жить нельзя; а ведь вот про это никто и не думает.

– Вот то-то и есть! А если б предвещение об этом было – небось бы поправились.

А тот с печи отвечает:

– Ничего б не поправились: не в предвещении дело, а в хорошем разуме. А разума-то и не слушают; ну а как предвещения придут, так они не обрадуют.

Его и стали просить рассказать про какой-нибудь такой пример предвещения; и он начал сразу сказывать.

– Я ведь уже старик, мне седьмой десяток идет. Первый большой голод я помню за шесть лет перед тем, как наши на венграшли, и вышла тогда у нас в селе удивительность.

Тут его перебили излишним вопросом: откуда он?

Рассказчик быстро, но нйхотя оторвал:

– Из села Пустоплясова. Знаешь что ль?

– И не слышали.

– Ну, так услышишь, чту у нас в Пустоплясах случилось-то; смотри, чтобы и у вас в своем селе чего-нибудь на такой манер не состроилось. А теперь помолчите, пока я докончу вам: моя сказка не длинная.

Стало в том у нас удивительно, что вокруг нас у всех хлеба совсем не родило, а у нас поле как-то так островком вышло задачное, – урожай бог дал средственный. Люди плачут, а мы бога благодарим: слава тебе, господи! А что нам от соседей теснота придет, о том понимать не хотим. А соседи нам все завидуют; так и говорят про нас: «божьи любимчики: мы у господа в наказании, а вы в милости». «И каким-де вы святителям молились и которым чудотворцам обещались?» А наши уж и чванятся, что в самом деле они в любви у господа: убираем, жнем, копны домой возим и снопы на овины сажаем да на токах молотим... Такая трескотня идет, что люба-два! И сейчас после этого сряду пошло баловство: накололи убоины, свезли попам новины, наварили бражки, а потом мужики норовят винца

попить, а бабы с утра затевают: «аль натъ-рушков натърить! аль лепешечек спечь!» И едим да пьем во вред себе больше, чем надобно. По другим деревням вокруг мякиною и жмыхом давят, а мы в утеху себе говорим: ведь мы не причинны в том, что у других голодно. Мы ведь им вреда на полях не делали и даже вместе с ними по весне на полях молились, а вот нашу молитву господь услышал и нам урожай сослал, а им не пожаловал. Все в его воле: господь праведен; а мы своих соседей не покидаем и перед ними не горжёмся: мы им помогаем кусочками. А соседи-то к нам и взаправду повадились каждый да и бесперечь, и все идут да идут и что дальше, то больше, и стали они нам очень надокучисты. Так пришло, что не только не кажись на улице, а и в избе-то стало посидеть нельзя, потому что слышно, как все тянут голодные свою скорбинку: «б-о-ж-ь-и л-ю-б-и-м-ч-и-к-и! сотворите святую милостыньку Христа ради!» Ну, раз дашь, и два дашь, а потом уж дальше постучишь в окно да скажешь: «Бог подаст, милые! Не прогневайся!» Что же делать-то! Хорошо, что мы «божьи любимчики», а им хоть и

пять ковриг изрежь, их все равно не накормишь всех! А когда отошлешь его от окошка, – другая беда: самому стыдно делается себе хлеб резать... То есть ясно, как не надо яснее, господь тебе в сердце кладет, что надо не отсылать, а надо иначе сделать, а пока чего должно не сделаешь – нельзя и надеяться жить во спокойствии.

И надо бы, кажется, это понять, а вот однако не поняли; тогда и провозвестник пришел, – его прогнали.

Тут по избе шепотком пронеслось:

– Слушайте, братцы, слушайте!

Запечный гость продолжал:

– Так доняли нас голодные соседи, что нам совсем стало жить нельзя, а как помочь беде – не ведаем. А у нас лесник был Федос Иванов, большой грамотник, и умел хорошо все дела разбирать. Он и стал говорить:

– А ведь это нехорошо, братцы, что мы живем как бесчувственные! Что ни суди, а живем мы все при жестокости: бедственным людям норовим корочку бросить, – нечто это добродетель есть? – а сами для себя все ведь с затеями: то лепешечек нам, то натирушков.

Ах, не так-то совсем бы надо по-божьи жить! Ах, по-божьи-то надо бы нам жить теперь в строгости, чтобы себе как можно меньше из-весть, а больше дать бедственным. Тогда, может быть, легкость бы в душе осветилась, а то прямо сказать – продыханья нет! В безрассудке-то омрачение, а чуть станешь думать и в свет себя приводить – такое предстанет терзательство, что не знаешь, где легче мучиться, и готов молить: убей меня, господи, от разу!

Федос, говорю, начитавшись был и брал ото всего к размышлению человеческому, как, то есть, что человеку показано... в обществе... То есть, как вот один перст болит – и все тело беспокойно. Но не нравилось это Федосово слово игрунам и забавникам во всем Пустоплясове; он, бывало, говорит:

– Вы, почкенные старички, и вы, молодой народ, на мои слова не сердитесь: мои слова – это не сам я выдумал, а от другого взял; сами думайте: эти люди, которые хотят веселиться, когда за порогом другие люди бедствуют, они напрасно так думают, будто помехи не делают, – они сеют зависть и тем суть богу противники. Теперь, братцы, надо со страдающими-

ми пострадать, а не праздновать – не вино пить да лепешкой закусывать.

Старики за это на Федоса кривились, а молодые ему стрекотали в ответ:

– Чего ты тут, дядя Федос, очень развякался! Что ты поп, что ли, какой непостриженный! Нам и поп таких речей не уставливал. Если нам бог милость сослал, что нам есть что есть, то отчего нам и не радоваться? Пьем-едим тоже ведь все в славу божию: съедим и запьем и отойдем – перекрестимся: слава-те, господи! А тебе-то что надобно?

Федос не сердился, а только знал, что ответить.

– Несмысленные! Что тут за слава? Никакой славы нет, что вы будете лепешки жевать до отвалу, когда люди кожей давят! А вы вот такую славу вознесите Христу, чтобы видели все, что вы у него в послушании... Ведь его же есть слово к нам: «Пусть знают все, что вы мои ученики, если имеете любовь между собою!»

Но только ничего Федос не успевал, и все ему наотрез грубили, и особенно ему перечила своя его собственная внучка Маврутка, –

одна только она у него и осталась от всего поколения, и он с нею с одною и жил в избе, а была она с ним несогласная: такая-то была вертеница и Федоса не слушалась, и даже озорничала с ним.

– Ты, – бывало, скажет, – очень уж стар стал, так вот и пужаешь всех и нет совсем при тебе никакой веселости. Чего ты пристаешь ко всем: «бог» да «бог»! Это мы и в церкви слышали, и крестились, и кланялись, а теперь надо веселого!

Он ей, бывало, скажет:

– Эй, нехорошо, Мавра! Бога надо постоянно видеть перед собою, на всех местах ходящего и к тебе понятно глаголющего, что тебе хорошо, а чего ненадобе. – А девка на эти слова от себя зачистит, зачистит и всякий раз кончит тем, что:

– Ты простой мужик, а не поп, и я не хочу тебя слушаться!

А он ей:

– Я простой мужик – я в попы и не суюся, а ты не суди, кто я такой, а суди только мое слово: оно ведь идет на добро и от жалости.

А внучка отвечает:

– Ну, ладно: в молодом-то веку не до жалости; в молодом веку надо счастье попробовать.

А Федос ей и сказал:

– Ну, что делать – испробуешь, только ведь не насытишься.

И так, где, бывало, с дедом Федосом люди ни сойдутся – сейчас все против него; а он все толкует, что надо жить в тишости, без шума и грохота, да только никак с людьми не столкнется и с Мавруткою к празднику нелады у него по домашеству; пристаёт она:

– Дай, дедко, мучицы просеять, спечь лепешечек!

А он этого не хочет, говорит:

– Ешь решотный хлеб, от других не отличи себя.

Мавра и злится:

– Нас, – говорит, – бог отличил, а ты морить хочешь!

Федос отвечает:

– Эх, глупая! Еще неведомо, для чего вы отличены; может быть, и не для радости, а в поучение.

И когда раз один Маврутка так на Федоса

рассердилась, так взяла да и сказала ему:

– Не дай бог с тобой долго жить, хоть бы помер ты.

Но Федос и тут не рассердился.

– Что же такое!.. Ничего!! погоди, вот скоро похороните; может быть, потом поминать станете.

А молодые-то – и расхохотались:

– Еще, мол, чего! Тебя, старого ворчуна, вспоминать будем!

Да и старички-то, которых звал он «почкенные», не на его стороне становились, а тоже, бывало, говорят:

– Чтт он превышаетя – лучше всех хочет быть во всем в Пустоплясове! Довольно знаем мы все его: вместе и водку с ним пили, и с бабами песни играли – чего великатится!

Молодые это слышать и рады, и иной озорной подойдет к нему и говорит:

– Дед Федос!

– А что тако?

– А вон что про тебя старики-то сказывают!

– Да! Ну-ка, давай, послушаем.

– Говорят... будто ты... Стыдно сказывать!

– Ну что?.. ну что? Не тебе это стыдно-то!

– Когда молодой-то был...

– У, был пакостник!.. Школы нам, братцы, не было! Бойло было, а школы не было.

– Говорят, ты солдатке в половень гостинцы носил!

– Да и хуже того, братцы мои, делывал. Слава богу, многое уже позабылося... Видно, бог простил, а вот... людям-то все еще помнится. Не живите, братцы, как я прожил, живите по-лучшему: чтоб худого про вас людям вспоминать было нечего.

А мы, раз от раза больше все ошибаючись, попали, братцы, перед святками в такое бесстыжество, что мало нам стало натирухов да лепешек, а захотели мы завести забавы и игрища. Сговорилися мы, потаймя от своих стариков, нарядиться как можно чуднее, медведями да чертями, а девки – цыганками, и махнуть за реку на постоялый двор шутики шутить. А Федос как-то узнал про это и пошел ворчать:

– Ах вы, – говорит, – бесстыжие! Это вы мимо голодных-то, дразнить их пойдете, что ли, с песнями? Слушай, Мавра! Нет тебе моего позволения!

Мы все ее у Федоса отпрашиваем:

– Пусти, мол, ее, Федос Иванович, что тебе ее век томить!

А он отвечает:

– Пошли вы, пустошни! Какое в этом утомление, чтобы не пустить человека из себя дурака строить!

– Ну, да ты, мол, уж всегда такой: ото всех все премудрости требуешь!

– Не премудрости, – говорит, – а требую, что господь велит, – на ближние разумения: ближний в скорбях, а ты не попрыгивай.

– Да разве ближнему-то хуже от этого?

– А разумеется, – не вводи его в искушение, а в себе не погубляй доброту ума.

– Ну, вот, мол, ты опять все про вумственность! Это надокучило! Небось, когда молодой был сам, так не рассуживал, а играл, как и прочие.

– Ну, и что же такое, – отвечает дед Федос. – Я ведь уже не раз признавался вам, что в молодых годах я много худого делал, так неужели же и вам теперь должен тоже советовать делать худое, а не доброе! Эх, неразумные! С пьяным-то, чай, ведь надо говорить не тогда,

когда он пьян, а когда выспится. Молодой я пьян был всякой хмелиною, а теперь, слава богу, повыспался. А если бы я был человек не грешный, а праведный, так я бы и говорил-то с вами совсем на другой манер: я бы вам, может, прямо сказал: бог это вам запрещает, и может за это придти на вас наказание!

Тут за это слово все на Федоса поднялись.

– Нет, нет! – закричали: – что ты, как ворон, все каркаешь! Это все ты сам повыдумывал! Веселье и в церквах поминается. Давыд-царь и играл, и плясал, и на свадьбе-то мало ли вина было попито. Ты своего не уставляй, – это нам не запретное. Если бы похотел господь, чтобы поворотить народ на другую путь, он бы не тебя послал, а особого посла-благовестника.

Федос им желал внушить, что не нам судить, какого посла куда посылает бог, а что слово господне – духовное и через кого оно доходит, через того все равно и засеменяется: кто в божьих смыслах говорит, того и послушайся, а нарочных послов не жди. Нарочный-то, бывает, так придет, что и не поймешь его.

Ну, а все же хоть и все с дедом спорили, а в открытость супротив его делать стыдились, потому что – когда вспомнится нам то, что старики про половень говорили, мы Федоса будто и не уважаем, а потом вздумаем, что он давно уже человек справедливый стал, а те «почкенные»-то, все еще вокруг половня ходят – нам Федоса и совестно. Грешник-то он, правда, что грешник был, да ведь он отстоялся уж и повернул себя на хорошее! Свое-то нам справить хочется, а его все-таки стыдно. И стали мы с своими намерениями крыться и сделали уговор вечером на Рожествин день собираться все в ригу и ждать друг дружку в угле, в колосе, а потом идти всей гурьбой переряженным к дворнику. А мы знали, что у дворника праздник как следует: быка залобанили, трех свиней зарезали и две бочки браги наварено. Пойдем, мол, налопаемся, а на обратном пути девки пусть себе где знают хоронятся.

Такие зашли затеи хорошие!

Пошли у нас хлопоты: разные мы одежи припасаем да прячем в потайных местах. Боймся только, чтобы не подсмотрели за нами

соседи неимущие да наши похоронки не украли бы.

Мы им до сочельника все подавали кусочки, а под сочельник бабы и девки сказали им:

– Слушайте, вы, неимущие! Вы чтобы завтра не сметь приходить сюда, потому что мы завтра будем сами в печках мыться и топорами лавки скресть. Завтра нам не до вас. Обходитесь как знаете.

Маврутка захотела свои уборы вынести в ригу, когда дед Федос в лес пойдет, и вот, когда все, что надо было, у себя в избе отмыла и отскребла, да поглядела в окно, а на улице, видит, – метель и сиверка, так что дышать трудно. Маврутка думает: «Дай скорей сомчу, а то дед воротится!» И только что отворила дверь, как сдушило ее сиверкой, а перед самым ее лицом на жерновом камне у порожка нищенское дитя стоит, и какое-то будто особенное: облик нежный, а одежды на нем только одна рваная свиточка и в той на обоих плечах дыры, соломкой заправлены, будто крылышки сломаны да в соломку завернуты и тут же приткнуты.

Маврутка на него осердилася.

– Чего тебе! – говорит, – для чего в такой день пришел! Ишь ты, нет на вас пропасти!

А дитя стоит и на нее большими очами смотрит.

Девка говорит:

– Что же ты бельма выпучил! Прочь пошел!

А он и еще стоит.

Маврутка его поворотила и сунула:

– Пошел в болото!

А сама побежала, и никакого ей беспокойства на душе не было, потому что ведь сказано всем им было, чтобы не ходить в этот день – чего же таскается!

Прибежала Мавра в ригу да прямо в дальний угол и там в сухом колосе все свое убранье и закопала, а когда восклонила, чтобы назад идти – видит, что этот лупоглазый ребенок в воротах стоит.

Маврутка на него опалилася.

– Ты, шелудивый, – говорит, – подслеживаешь меня, чтобы скрасть мое доброе! Так я отучу тебя! – Да и швырнула в него тяжелый цеп, а цеп-то такой был, что дитя убить сразу мог, да бог дал – она промахнулась, и с того

еще больше осердилась, и погналася за ним. А он не то за угол забежал, не то со страху в какой-нибудь овин нырнул, только Мавра не нашла его и домой пошла, и поспешает, чтобы придти прежде, чем дед Федос воротится из лесу, а на самое на нее стал страх нападать, будто как какая-то беда впереди ее стоит или позади вслед за ней гонится.

И все чем она шибче бежит, тем сильнее в ней дух занимается, а тут еще видит, что у них на заваленке будто кто-то сидит...

Маврутка вдруг стала смотреть: что это? неужели опять лупоглазый там?..

Девка-ровечница с ведром шла и спрашивает:

– Что у тебя нога что ли подвихнулася?

А Маврутка машет ей и говорит: – Послушай-ка, чтт тебе нашу избу видно?

Та отвечает:

– Видно.

– А что это такое там у нас под окном на заваленке?

– Это твой дед Федос сидит...

– У тебя, может быть, курья слепота в глазах?

– Чего еще! Ярко его вижу, вон он руки в рукавицах на костыль положил, а недром носит. Тяжело его удушье бьет.

– А ребенка лупоглазого не видишь там?

– Лупоглазое дитя-то ноне по всему селу ходило, а теперь его нетути...

А Маврутка ей говорит, что она сейчас лупоглазое дитя видела и что он подсмотрел, где она свой убор закопала.

– Теперь, – говорит, – то и думаю, что он, стылый, откопает да и выкрадет.

– Пойди перепрячь скорей!

– И то сбегаю!

А сама чувствует, что теперь уже ей в риге было бы боязно. И тут Мавра с дедом опять не в лад сделала, так что он сказал ей:

– Ты, должно быть, задумала что-нибудь на своем поставить. Смотри, беды б не вышло! Она отвечает:

– Не удержишь меня!

– Чего силом держать... и ненадобно... А тебе, слышь, чего же там понравилось?.. Назад-то пойдете, ребята чтоб вас не обидели.

– Закаркал, закаркал опять! Никого не боимся мы, а там праздник как следует, – там

били бычка и трех свиней, и с солодом брага варена...

– Вона что наготовлено исступления! И пьяно, и убоисто...

– А тебе и свиней-то жаль!

– Воробья-то мне и того-то жаль, и о его-то головке ведь есть вышнее усмотрение...

– О воробьиной головке-то!

– Да.

– Усмотрение!

– Да!

– Тьфу!

Мавра в раскат громко плюнула.

Дед сказал:

– Чего ж плюешься?

– На слова твои плюнула.

– На мои-то наплюй, – не груби только Хозяину.

– Он мне и ненадобен.

– Вона как!

– Разумеется!.. Пусть его нелюбым коньям гривы мнет.

– Что городишь-то, неразумная! Я тебе говорю про Того, Кому мы все работать должны.

– Ну, а я не разумею и не хочу.

– Что это? – работать-то?

– Да.

– Поработаешь. Не все ведь вольною волей работают, – другие неволею. И ты поработаешь.

Мавра через гнев просмеялася и говорит:

– Полно тебе, дед! В самом деле, видно, правда, что ты с ума сошел!

А дед посмотрел и ответил ей:

– Господь с тобой, умная! – и сам на печь полез, а она схватила под полу его фонарь со свечой и побежала в ригу свой наряд перепрятывать.

А в риге-то уже темно, и страх на нее тут так и налетел со всех сторон вместе с ужасью: так ее и за плечо берет, и ноги ей путает. Думает: «дай скорей огонь зажгу – смелей станет». Чиркнула спичкою раз и два – что-то у самого лица будто пролетело. Она зажгла фонарь и перекрестилась, а только зашла в угол к колосу, как вдруг с одной стороны к ней пташка, а с другой другая, – точно не хотят допустить ее!

И видит она, что это ей не кажется, а вправду есть: откуда-то слетели воробушки и

пали на колос в свет и сидят-глядят на нее на-топорщившись...

«Давай скорее выхвачу да и убегу», – думает Мавра и стала скорей руками колос разворачивать, а там под рукой у нее что-то двинулось и закопалось... Она – цап посильней, а ей откуда ни спади еще воробей, и трепещется, и чирикает... «Тьфу, мол, чтт тебе надобно? Проклятый ты!» Взяла его да и сорвала ему головуночку, а сама не заметила, как с сердцем в злости фонарь бросила и от него враз солома вся всполыхнула; а оттудова-то, из кучи-то – чтт вы скажете! – восстает оное дитя лупоглазое и на челушке у него росит кровь.

Тут уж Мавра забыла все и бросилась бежать, а огонь потек с бурею в повсеместности и истлил за единый час все, чем мы жили и куражились...

И стало нам хуже всех тех, которые докучали нам, потому что не только у нас весь хлеб погорел, а и жить-то не в чем было, и пошли мы все к своим нищим проситься пожить у них до теплых дней.

А дед-то Федос на пожаре опекся весь и вставать не стал; ну, а все ладил в ту же статью

и говорил другим с утешением:

– Ничего, – говорит, – хорошо все от господ посылается. Вот как жили мы в божьих в любимчиках – совсем, было, мы позабылись, – хотели все справлять свои дурости, а теперь господь опять нас наставит на лучшее.

Так и помер с тем, – с этой верой-то!

А какое это было дитя, и откуда, и куда оно в пожар делось – так никогда потом и не дознались, а только стали говорить, будто это был ангел и за нечувствительность нашу к нему мы будто были наказаны.

Все равно, – говорил Федос, – кто бы ни был он, – бедное дитя всегда «божий посол»: через него господь наше сердце пробует... Вы все стерегитесь, потому что с каждым ведь такой посол может встретиться!

*Впервые опубликовано – журнал «Северный вестник», 1892.*